



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Волков сидел за письменным столом. Сидел и ждал, ничем, кроме ожидания, не занятый. Ожидание тяготило его. Он не привык ждать, он привык, чтобы его ждали. Он привык действовать, распоряжаться, работать, а не сидеть так, молча, с руками, праздно сложенными на коленях. Он прислушался к шагам в коридоре.

«Нет, это еще не Андрей, не его шаги. Я волнуясь, — подумал он, — сумею ли я? Сумею ли объяснить ему, убедить его?» Он достал бумажник и вынул из него сложенный листок. Это было письмо, написанное его собственным почерком. Он смотрел на него, и спокойствие понемногу возвращалось к нему. Не только спокойствие, но и уверенность, что он прав, что то, что он собирался сделать, правильно и необходимо.

— Да, так. Правильно, — сказал он. — Другого выхода нет. Правильно.

«Скажи Мише, если я не успею...» — начиналось письмо, и сейчас же эти слова повели за собой другие. Стоило только начать: «Скажи Мише», чтобы память сейчас же продолжила: «...что я люблю его, будто он тоже мой сын. Любите друг друга, как я вас люблю».

В дверь постучали. Волков спрятал письмо и встал навстречу входящему.

Это был Луганов, его друг Андрей Луганов. Волков подошел и обнял его:

— Ну здравствуй, здравствуй, заждался тебя. Здоров? Все в порядке?

Он внимательно всмотрелся в лицо Луганова своими сине-черными глазами и, по-видимому убедившись, что за время их разлуки никаких особенных перемен с Лугановым не произошло, продолжал, не дожидаясь ответа:

— А я сюда специально для тебя приехал. Надо с тобой серьезно поговорить, очень серьезно.

— Серьезно? — переспросил Луганов удивленно. — Но когда же ты говоришь несерьезно?

Волков мотнул головой:

— Ну, это будет совсем особенная серьезность. А ты все по-старому, бородачом ходишь? Пора бы. — И он провел рукой по подбородку, подражая движению бритвы.

Луганов пожал плечами:

— К чему?

— И то правда. Поклонниц твоих в этой собачьей дыре нет, некого тебе пленять. Ходи себе на здоровье этаким Чернышевским в ссылке. Мне ты и так нравишься. Только почему она у тебя седая, когда в волосах еще «соли времени» не видно? А я хоть не седею, зато лоб растет. Умнею, видно, на старости лет. Вот и прошу тебя серьезно отнестись к моим умным речам. — Он старался шутить, но это не совсем удавалось ему. Он подвел Луганова к дивану. — Устраивайся поудобнее, разговор будет длинный. Дай я тебе подушку под плечо подложу.

Луганов сел.

— Как я рад, что ты так неожиданно... — начал он. — Когда я вдруг увидел Федорова, даже не понял сразу. Ведь я тебя только через месяц ждал и...

— Не такое теперь время, — прервал его Волков, — чтобы на месяц вперед рассчитывать. Теперь время не часами, а минутами мерить надо, если хочешь поспеть за «ходом событий». Спешить надо — не то опоздаешь. Такая кутерьма заваривается!.. — Он деловито взбил подушку и подложил ее под разбитое плечо Луганова. — Так удобно тебе? Я сейчас прикажу, чтобы нам подали чай и не беспокоили.

Он подошел к звонку, держась преувеличенно прямо, чтобы казаться выше ростом. Но он не успел позвонить. Дверь осторожно отворилась, и на пороге появился Федоров, бывший матрос, неизменный шофер и денщик Волкова еще со времен Гражданской войны.

— Москва требует по прямому проводу, — доложил он, вытягиваясь по-фронтовому.

Волков поморщился:

— А, черт, и поговорить не дадут. Иди себе лучше, Андрей. Извини меня, а то после кремлевских телефонов дела всегда часа на два. Приходи вечером, тогда обо всем спокойно потолкуем. Так жду тебя. Ну пока...

И он сделал рукой широкий приветственный жест, будто перед ним проходила целая дивизия, а не сутулящийся, бородатый, с большой рукой на перевязи бывший писатель Луганов.

Луганов шел по шаткому деревянному тротуару главной улицы, обсаженной тополями. Прежде она звалась Губернаторской, теперь улицей Великого Человека. Перед тем как быть названной окончательно, она, как и все главные улицы всех городов и городишек Союза, переменяла несколько названий. По смене табличек на перекрестках с именами то Фрунзе, то Троцкого, то Рыкова можно было наглядно

проследить борьбу, шедшую в Кремле, восхождение и закат партийных звезд, борьбу, теперь закончившуюся полной победой Великого Человека.

Обязанности секретаря «Городских известий» мало обременяли Луганова. Вот и сегодня, как и почти каждый день, с двух часов уже не было никакой работы и не стоило возвращаться в редакцию.

Очередной номер «Городских известий», как номера таких же, похожих друг на друга по внешности и по содержанию, как близнецы, бесчисленных советских газет, издающихся в бесчисленных провинциальных городах необъятного Советского Союза, составлялся изо дня в день, из года в год по раз навсегда установленному партией образцу.

Главная часть материала — распоряжения правительства, сведения об успехах пятилетки, урожае, молочном хозяйстве, добыче угля или производстве чугуна — перепечатывалась из московских газет или присылалась циркулярно агентством ТАСС вместе с короткими телеграфными сообщениями из разных концов Союза и из-за границы. В этих телеграммах говорилось по большей части о тех же видах на урожай, доярках и стахановских достижениях. Из-за границы сообщалось главным образом о затруднениях буржуазных и фашистских правительств и о несправедливостях и притеснениях, совершаемых ими в отношении трудящихся своих стран. Сообщалось также неизменно, изо дня в день, об успехах коммунистического движения во всем мире. С тех пор как началась мировая война, к этому прибавились короткие, бледные, двусмысленные сводки о ходе военных дел.

Работа секретаря была несложна. Надо было на двух страницах небольшого формата расположить

эти статьи и телеграммы и выправить корректуру. Корректуру, правда, надо было править очень внимательно: малейшая опечатка, искажающая официальный текст, могла стать для допустившего ее и даже для его начальства источником неприятностей, размеры которых нельзя было предвидеть. Кроме материала, доставляемого из Москвы, в газете, конечно, помещались и заметки о местной жизни. Они тоже были бледны и коротки. Отчеты о воскресниках, собраниях, какое-нибудь происшествие, какой-нибудь завуалированный донос... Все они были заранее профильтрованы местным партийным комитетом, и разрешение опубликовать тот или другой факт давалось не спеша, с оглядкой на Москву. Самое незначительное сообщение могло оказаться ошибкой, уклоном, нарушением одной из бесчисленных и все время меняющихся, несмотря на кажущуюся неизменность, партийных директив. Малейшая ошибка или недосмотр могли оказаться апельсинной коркой, на которой поскользнется и полетит со своего места секретарь или редактор газеты или тот или иной городской администратор.

Поэтому нередко случалось, что о пожаре, на котором присутствовал весь город, писалось неделю спустя, а иногда и совсем не писалось, будто его и не было. Кто его знает, кого надо винить в возникновении пожара? Может быть, архитектора? Может быть, обитателей дома? Может быть, кого-нибудь совсем другого, не имеющего никакого отношения ни к дому, ни к пожару, от которого сгорел этот дом? Кроме того немногого, что по соображениям внутренней политики предназначалось стать известным, ни редактор газеты, ни ее сотрудники, ни читатели ее не знали ровно ничего из того, что творилось в мире

и в чем так или иначе разбирается любой грамотный человек в любой другой стране.

Незнание окутывало Советский Союз, как атмосфера окутывает землю. В его непроницаемой неподвижности было нечто непререкаемое. Незнание, в котором родился, жил и умирал советский гражданин, было совсем иным, чем, например, незнание канадского фермера или нормандского рыбака, тоже мало о чем знающих, кроме урожая или рыбной ловли. Это было особенное незнание, обязательное для граждан Советского Союза, непреодолимое, как закон природы. Конечно, не все принималось читателями на веру. Конечно, возникали протесты, недоумения и вопросы, но вопросы погасали сами собой, недоумение таяло, протесты бледнели в колеблющемся и неустойчивом сознании. Поделиться или поговорить было не с кем. Самый близкий человек может донести НКВД. А единственный советник — 25-летняя рабская покорность и пролетарская дисциплина подсказывали, что надо подчиняться не рассуждая, что это необходимо. Раз необходимо, следовательно и правильно, и хорошо, и нечего тут рассуждать и задавать праздные вопросы.

Луганов завернул в переулок. Что хотел сказать Волков? О чем? Чувство, похожее на скользкий страх, вдруг, как прозрачная тень, пробежало по листве тополей и по лошадиной голове с белым пятном, выхватив из общего пейзажа эту листву и эту лошадиную голову.

На что намекал Волков? Вера? Вздор, это не может касаться Веры. Должно быть, что-нибудь насчет газеты. Не надо беспокоиться. Он толкнул зеленую калитку и по усыпанной гравием хрустящей дорожке зашагал к низкому белому дому, увитому диким ви-

ноградом. В прихожей его встретила хозяйка, женщина лет пятидесяти, из «бывших», с высокой прической и с болтавшимся на черной ленточке лорнетом с давно выпавшими стеклами.

— Ах! — делано вскрикнула она, будто появление ее жильца было для нее неожиданностью. И сейчас же, подняв пустые ободки лорнета к глазам, жеманно добавила: — Быть вам богатым, Андрей Платоныч, не узнала. Не хотите ли чайку? По такой жаре очень освежает. И я бы с вами с удовольствием... А то одной пить скучно.

— Нет, спасибо, — вежливо отклонил Луганов. — Занят. Работы много.

— Жаль! — Хозяйка недовольно уронила свой лорнет, и он закачался, как маятник — от надежды к огорчению. От надежды — «а вдруг все-таки жилец придет», к огорчению — «этот медведь опять запретя у себя до ужина».

— Я сегодня варенье сварила. Вишневое. Отлично удалось.

Но и варенье не имело успеха. Луганов уже осторожно обходил пышную фигуру хозяйки. Она вздохнула:

— Жара какая. Тоска, тощица какая.

Он знал, что ей невыносимо скучно и что его отказ огорчил ее.

— В другой раз. — И он открыл свою дверь.

В комнате был полумрак. Хозяйка, хотя он и просил ее не делать этого, наглухо затворяла ставни и окно «для прохлады». Она, как и все южане, вела постоянную борьбу с солнцем.

«И чего скучает, чего тоскует? — осуждающе подумал он о ней. — Радоваться должна бы старая ду-



ра, что оставили ей дом и сад и даже мужа-полковника. Здесь, в провинции, еще жить можно, места достаточно, а в Москве наплакалась бы: отвели бы ей с мужем-полковником жилплощадь за ширмами в чужой комнате. А тут — вари себе варенье, разводи кур и гусей и еще нахлебника держи для дохода». И все-таки ему было немного жаль этого «обломка прошлого», с его лорнеткой, старорежимностью и гостеприимством.

Луганов растворил окно, повесил шляпу на вешалку и лег на клеенчатый диван с высокой резной спинкой, уютно пристроив подушку под больное плечо. Он с благодарностью думал о том, что спешить никуда больше не надо до самого вечера, когда он снова увидит своего друга. Он, улыбаясь, смотрел в сад, сиявший сплошным сиянием радужно расцветавшей в нем жизни. Все жило, все сияло, благоухало, жужжало, и он зажмурился, подставляя лицо солнцу. «„Мне придется с тобою серьезно поговорить“, — вспомнил он снова. — Нет, не надо беспокоиться. Все хорошо и будет хорошо». Он протянул руку, взял со стола английскую Библию, положил ее рядом на подушку, открыл ее наудачу и прочел: «And the Lord said to Joshua: Fear not neither be thou dismayed»<sup>1</sup>. Это был ответ. Да, это был как раз тот ответ, которого он ждал. Он не стал читать дальше. Он громко повторил: «Fear not». Да, бояться было нечего. Он и не боялся. Ничего дурного не могло исходить от Волкова. Волков был защитником, добрым вестником, другом. Другом, главное — другом. Другом с большой буквы.

---

<sup>1</sup> Сказал Господь Иисусу Навину: «Не бойся и не ужасайся» (англ.).

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Дружба их началась 16 августа 1905 года, с первого же дня гимназической жизни. Во время перемены между уроками его сосед по парте ткнул его локтем в бок и спросил:

— Как тебя зовут?

— Андрик Луганов.

Спросить, как зовут соседа, он не решился. К тому же он не знал, говорить ли ему «вы» или «ты». Но тот сам с серьезной важностью назвал себя:

— Волков Михаил, — и, помолчав, добавил гордо: — Я круглый сирота.

Луганов не понял, что значит «круглый». Он сам был сиротой, отца своего он не помнил. Но своим сиротством он не гордился, как, впрочем, и не тяготился им. Он стал распаковывать свой новый ранец, вынул из него аккуратно обернутые синей бумагой книжки и тетрадки, потом достал пенал с карандашами, ручками и новым перламутровым ножиком, накануне подаренным ему матерью.

Сосед с любопытством следил за ним.

— Сразу видно — тихоня. Первым учеником будешь. Покажи, покажи ножик. Знатный, дорогой, должно быть.

Луганов подал ему ножик. Волков быстро открыл все его четыре лезвия, и глаза его засверкали.

— Мне бы такой!..

— Возьмите, — сказал Луганов, краснея. — Я вам дарю.

Волков удивленно посмотрел на него своими черно-синими глазами и тоже густо покраснел:

— Зачем? Разве тебе не жалко?

Луганов покачал головой. Нет, ему не было жалко. Душа его вдруг раскрылась навстречу новому, еще не испытанному ею чувству дружбы и требовала жертв.

— Пожалуйста, возьмите. Пожалуйста!

И Волков, немного поколебавшись, спрятал ножик в карман. Он не успел даже поблагодарить — в класс входил учитель.

На большой перемене, когда они рассказали друг другу все события своих коротких жизней, Волков спросил Луганова:

— Хочешь, будем друзьями?

И Луганов сразу ответил:

— Хочу, — и добавил с уже тогда свойственным ему романтизмом: — На всю жизнь. До самой смерти.

Это «до самой смерти», по-видимому, поразило Волкова. Он дважды торжественно повторил, перед тем как они крепко пожали друг другу запачканные чернилами руки:

— До самой смерти!

Так началась их дружба, которой действительно было суждено длиться всю жизнь, до самой смерти.

Волков был тогда похож на цыганенка: маленький, крепкий, смуглый, с очень блестящими синечерными глазами. Он постоянно смеялся, говорил, размахивал руками, двигался. В нем, как ветер, носились оживление и радость, прорываясь наружу смехом, криками, взмахом рук. Ему было тяжело молчать на уроках, тяжело сидеть неподвижно.

— Я ненавижу гимназию, — решил он тут же. — А ты?

Но Луганов не согласился с ним. Напротив, ему в гимназии все очень понравилось. И он был горд,

что и у него теперь есть друг. Друг на всю жизнь. До того дня у него друзей не было.

Он хорошо помнил тогдашнего Волкова. Но себя самого он не мог себе представить иначе, чем окруженным овальной золоченой рамкой, в черном бархатном костюме с кружевным воротником и белокурыми локонами. Таким, как он на большом портрете, в спальне матери. Конечно, поступив в гимназию, он почти утратил сходство с этим портретом. Локоны были острижены под машинку, и бархатный костюм заменила гимназическая форма. Он помнил фуражку с гербом, черную гимназическую блузу, кушак с металлической бляхой, пахнувший, как сбруя, и ощущение всей этой сбруи, надетой на него. Но лица своего он не видел. Лицо его, по-прежнему окруженное светлыми, уже не существовавшими локонами, мечтательно и рассеянно улыбалось из овальной рамы.

Мать его, Катерина Павловна, была вдовой профессора, всю свою молодую страстность и все мечты обманувшей ее жизни воплотившая в своем сыне. Она заранее решила, что сын ее будет замечательным человеком, что он будет знаменит. Она гордилась им со дня его рождения. Он еще лежал в колыбели, а она уже записывала в толстую тетрадь «материалы для биографии Андрея Платоновича Луганова»:

«Он очень редко плачет. Он лежит молча, с открытыми глазами. Он всегда старается смотреть вверх. Когда его подносят к окну, он протягивает руку, будто показывает на небо».

Она записывала все его слова и жесты. Она вклеивала в тетрадь его первые рисунки. Ведь она еще не знала, в какой области он будет знаменит. В пять

лет он сочинил первое стихотворение про ежика, и тогда она решила, что он будет писателем. В это лето, стоя на мостках купальни, он упал в озеро. Она сейчас же вытащила его. Вода возле берега была теплая и неглубокая. Он не испугался. Он спросил ее, когда его уже успели обсушить и переодеть:

— Мама, это я действительно упал в воду или во сне?

Ее очень взволновало это «или во сне». Значит, он не сознавал разницы между жизнью и сном. Значит, он жил как во сне? Конечно, это было признаком поэтичности его натуры. Но как непонятны талантливые дети! Вот уже он живет в другом мире, чем она. А что будет, когда он вырастет? Пока он маленький, он принадлежит только ей. От нее зависит, чтобы его детские впечатления были радостными и праздничными, чтобы он как можно дольше не догадывался даже, что не все благополучно на земле, что не все счастливы. И главное, что существует смерть, что все должны умереть. Он рос одиноко. Она боялась дурного влияния других детей. Они так жестоки и грубы. Они мучают животных, они разоряют гнезда, а он даже не знал еще, что существует смерть. Она водила его в церковь, но не учила Закону Божьему. Он не слышал еще об аде и о втором пришествии, о Страшном суде, так отравившем страхом ее детство. Он не знал, что есть грех. Она рассказывала ему о Боге. Бог — добро и любовь, с Богом все возможно. Бог любит тебя, и ты должен любить Бога. Когда ему исполнилось восемь лет, она вдруг забеспокоилась и засомневалась в системе своего воспитания. Хорошо ли, что он растет так одиноко, что он так молчалив? Он сидел часами перед аквариумом в гостиной, следя за золотыми рыбака-

ми, плавающими между искусственными коралловыми рифами.

— Андрик, разве тебе не скучно?

Нет, ему не было скучно. Ему, по-видимому, никогда не было скучно.

— Что ты делаешь, Андрик? — спрашивала она его.

Он поднимал голову и серьезно смотрел на нее:

— Я играю.

Она удивлялась. Он сидел у окна и смотрел на небо, на меняющиеся облака.

— Какая же это игра? Как в нее играть?

Он улыбался.

— Так, — и снова умолкал.

Она стала водить его в Таврический сад. Он катал по аллеям свой золоченый обруч, подгоняя его золоченой палочкой. Он был очень красив в бархатном костюме, с локонами, и матери остальных детей любовались им. И это ей было приятно. Но он не хотел бегать с детьми, он не хотел разговаривать с ними. Они не нравились ему. Он отворачивался от них. Он становился один под дерево и стоял тихо и неподвижно. Солнце падало сквозь молодую листву на его лицо, и он улыбался и жмурился.

— Что ты делаешь, Андрик?

— Я играю, — говорил он мечтательно.

Он был здоровым ребенком, он очень редко хворал и никогда не жаловался ни на усталость, ни на головную боль. Он не капризничал. Его не приходилось уговаривать есть, он не плакал, когда его укладывали спать. И все-таки она сознавала, что он был странный, особенный. Впрочем, это было естественно: ведь он, когда вырастет, станет знаменитым, а знаменитые люди все были необычайными детьми.

Она читала педагогические книги, она советовалась с профессорами, друзьями своего покойного мужа, о воспитании Андрика. Когда ему исполнилось десять лет, она спросила его, не хочет ли он поступить в гимназию. И он, к ее удивлению, ответил:

— Очень хочу. И поскорее!

Будто он давно обдумал и решил вопрос о своем поступлении в гимназию.

Тогда же, той же весной, он выдержал экзамен во второй класс, и она с грустью думала о том, что теперь он будет полдня проводить вдали от нее, что у него заведутся друзья и он уже не будет целиком принадлежать ей.

И действительно, в первый же день, вернувшись из гимназии, он рассказал ей о Волкове Михаиле — «друге на всю жизнь». Ее сердце сжалось от ревности. Она не ожидала, что это произойдет так быстро. Она уже перестала быть его единственной любовью.

Распаковывая его ранец, она увидела, что нового перочинного ножика нет.

— Где твой ножик, Андрик?

И он сейчас же объяснил, радостно улыбаясь:

— Волков согласился его взять. Ему очень понравился.

Она с трудом сдержала упрек. Как легко он раздает ее подарки. Но она сдержалась. Она смолчала. Она чувствовала, что этот Волков грозит ее счастью, что это настоящая опасность. Необходимо было увидеть эту опасность, узнать ее, чтобы бороться с ней — бороться и победить ее.

— Пригласи твоего друга к нам в воскресенье, — сказала она.

В воскресенье, готовясь к встрече с «опасностью», она оделась и причесалась еще тщательнее, чем обыкновенно. Она выработала целый план дей-

ствий. Она уже ненавидела этого отвратительного Волкова, отнимающего у нее ее Андрика.

В прихожей позвонили. Она вышла в гостиную, шурша шелковыми юбками. Она была готова к борьбе.

Но опасность, но враг оказался совсем не таким, как она воображала. По рассказам Андрика выходило, что Волков очень серьезный и гораздо старше Андрика, что он совсем большой. Но он, напротив, был маленький, гораздо меньше, чем Андрик, и гораздо ребячливее его. Плохо остриженные волосы торчали вихрами на затылке, гимназическая форма, явно сшитая на вырост, придавала ему вид кота в сапогах. Он шаркнул ножкой в дешевом, не по росту большом башмаке и вежливо поздоровался с ней, поцеловал ей руку. И она, позабыв все свои планы, нагнулась к нему и нежно поцеловала его смуглую щеку.

— Здравствуй, Мишук, — прошептала она, еле сдерживая слезы.

Ведь и ее Андрик был бы таким жалким, таким брошенным, если бы она умерла. Бедный сиротка. И она могла его, такого маленького и милого, ненавидеть?

Она взяла его за руку, а другую руку протянула Андрику.

— Пойдем, друзья, — сказала она им, называя их «друзьями», будто их дружба была самое характерное в них. — Сейчас позавтракаем. Будут рябчики и мороженое, а после завтрака я повезу вас в цирк.

С того дня Волков Михаил начал проводить все праздники у них в доме. Катерину Павловну он любил сразу сиротской, жадной любовью. Он был гораздо нежнее Андрика. Он не умел ни сдерживать, ни скрывать своих чувств. Он терся щекой о ее ко-



лени, тыкался в них носом, вдыхая запах ее духов. Он ложился на ковер у ее ног, изображая собаку и рыча на прислуг, подходивших к ней. Он звал ее — мама Катя, и Андрик, из подражания ему, стал звать ее так же.

Она скоро поняла, что Андрик правильно выбрал себе друга. В Мишуке — это имя так и осталось заним — была шумная веселость, предприимчивость, непоседливость и живость, недостававшие Андрику. Нет, она больше не ревновала его к сыну. Она была благодарна судьбе, пославшей ей Мишука. Она любила его.

На лето она увезла его с собой в ее имение. Она подарила им обоим по пони, и они втроем стали выезжать каждое утро на прогулку. В длинной amazонке, с развевающимся зеленым вуалем на шляпе она казалась им королевой, они чувствовали себя ее пажами, скача галопом по обе стороны ее шедшего рысью золотистого коба.

По вечерам она при свете свечей играла на рояли и пела для них. Высокие окна гостиной были отворены, и соловьиные трели отвечали ей из парка.

Осенью ей стало совершенно ясно, что ни она, ни Андрик уже не могут расстаться с Мишуком. Мишук стал им так же необходим, как они были необходимы ему. И она, списавшись с его опекуном, раз и навсегда поселила его у себя.

Они оба учились хорошо. Она не требовала от них, чтобы они были первыми учениками. Но она объяснила им, что их плохие отметки очень огорчили бы ее. Настолько, что она могла бы заболеть, а этого они боялись больше всего. У нее было слабое здоровье, она была нервна. Они учились для нее, чтобы она была довольна и здорова.

Возвращаясь из гимназии, они останавливались возле незанавешенных окон подвальных квартир. Темнело, и там, внизу, уже горели лампы и было видно все, что происходит в убогой комнате. Рабочий строгал доску, девочка на полу играла стружками, в углу женщина стирала белье в лоханке, мыльные хлопья падали, как снег, на пол.

Мальчики смотрели в окно.

— Вот, — говорил Андрик, — они живут, по-настоящему живут. И все у них настоящее. И хлеб на столе, и вода горячая в корыте, пар от нее и мыло вот, а у нас как будто только декорация, как в театре. И все ненастоящее. Я не умею тебе объяснить, но ты ведь то же чувствуешь, Мишук.

Нет, Мишук не чувствовал, не понимал, о чем говорит его друг. Его не это занимало. Он смотрел в окно и видел бедность этих людей и то, как им тяжело живется, как они трудятся. Девочка заплакала — и девочка плачет, наверно, оттого, что голодна. «Несправедливость!» — возмутился он. Девочка продолжала плакать. Плача не было слышно, окна на зиму были плотно заклеены, но видно было, как она, надрываясь, открывала рот. Женщина в углу бросила белье, подошла к девочке и рукою в мыльной пене ударила ее по щеке. Девочка упала навзничь. Мужчина, строгавший доску, поднял злое, грубое лицо и погрозил рубанком. Кому? Девочке или женщине или им обеим?

— Пойдем, пойдем. — Мишук потащил друга за собой. — На это нельзя смотреть. Нельзя. Они не виноваты, что они злые, грубые. Они бедны, они не виноваты.

Андрик не понимал и возмутился:

— Она скверная, злая. Зачем она была ребенка?

— Оттого, что она устала, что она измучена, оттого, что у богатых все есть, а у бедных ничего нет, — объяснял Мишук. — Богатые виноваты. Во всем виноваты. Всегда.

Они шли домой, рассуждая о бедности и о горе. Теперь Андрей знал, что на свете есть горе и смерть. Ему было жаль людей там, в подвалах, и все-таки он не мог отделаться от легкой зависти к ним.

Ему почему-то казалось, что они, как и все остальные люди, которые идут по улице, едут в трамвае или в экипажах, независимо от их богатства или бедности, от их счастья или горя, живут настоящей жизнью, недоступной ему. А он только притворяется, что живет, и все кругом него — только театральная декорация. Он много читал, он знал много стихотворений наизусть и сам писал подражания им. Катерина Павловна переписывала их в свои «материалы для биографии А. Луганова». Теперь для нее уже было совершенно ясно: Андрик будет писателем. Она убеждала его, что это его призвание. Она купала ему книг и вместе с ним читала их. Она взяла ему учителя английского языка, чтобы он мог читать Шелли и Китса в подлиннике. Мишук не интересовался поэзией, не любил ни театра, ни музыки. Учиться английскому языку он тоже отказался. Его очень рано начали интересоваться социальные вопросы. В шестом классе он уже был революционером. Катерина Павловна не мешала ему.

Вышло как-то само собой, что мальчики, оставаясь друзьями, все-таки до конца откровенны были только с ней. Она одинаково хорошо понимала обоих. Эта близость к ней не только не расстраивала их дружбы, но еще больше скрепляла ее. Они еще сильнее любили друг друга оттого, что она любила их обоих.